

А. С. Хомяков

О возможности русской художественной школы

Москва, 1847

В письме, напечатанном мною в «Московском сборнике», я сказал, что преобладание и одностороннее развитие рассудка составляют характеристику нашего мнимого просвещения. Никто не опровергал этой истины: она так очевидна, что ее и оспаривать невозможно. Но, с другой стороны, многие, допуская ее, не видят в ней беды. Иначе и быть не может. Общество, которое лишилось полноты разумного развития, должно было отчасти лишиться способности понимать и ценить эту полноту. Оно должно быть склонно презирать утраченное или еще недостигнутое и утешаться скудными приобретениями, купленными ценою великих потерь. Это состояние общества не случайно. Полнота и целостность разума во всех его отправлениях требуют полноты в жизни; и там, где знание оторвалось от жизни, где общество, хранящее это знание, оторвалось от своей родной основы, там может развиваться и преобладать только рассудок — сила разлагающая, а не живительная, сила скудная потому, что она может только пользоваться данными, получаемыми ею извне, сила одинокая и разъединяющая. Все прочие животворные способности разума живут и крепнут только в дружеском общении мыслящих существ; рассудок же в своих низших отправлениях (в поверхностном анализе) не требует ни сочувствия, ни общения, ни братства и делается единственным представителем мыслящей способности в оскудевшей и эгоистической душе. Впрочем, это преобладание односторонней рассудочности не есть действительное укрепление рассудка. Он сам приходит в упадок и лишается высших аналитических способностей, но кажется только преобладающим и крепнущим потому, что все прочие способности подавлены. Я почел необходимым прибавить это объяснение для читателей, которые могли полагать (иные действительно полагали), что

я позволил себе некоторую произвольность в оценке нашего общественного мышления, и надеюсь, что они согласятся в необходимости сделанных мною выводов.

Очевидно, что такое состояние мысли не допускает даже и возможности русской народной школы.

Конечно, найдутся люди (я таких и встречал и знаю), которые скажут: «Почему же школа художеств должна быть народной? Прекрасное везде прекрасно. Надобно искать художества, а не народности в искусстве. Этот тесный и, так сказать, славянофильский взгляд на прекраснейшее явление духа человеческого убивает силы духовные или увлекает их по ложным безысходным путям; он недостоин ни просвещенного 19-го века, ни просвещенной земли». Такое суждение, как известно, сопровождается всегда легким пожатием плеч, знаком добродушного сожаления об ограниченности славянофильской, и несколько гордою улыбкою, выражением внутреннего довольства своим собственным просвещением и своею гуманностию. Я согласился бы с ним охотно, если бы меня не останавливали две преграды — факты и их аналогия, разум и его законы.

До сих пор сколько ни было в мире замечательных художественных явлений, все они носили явный отпечаток тех народов, в которых возникли; все они были полны тою жизнью, которая дала им начало и содержание. Египет и Индия, Эллада и Рим, Италия, Гишпаниа и Голландия, каждая из них дали образовательным искусствам свой особый характер. Памятник в глазах историка-критика восстанавливает историю (разумеется, умственную, а не фактическую) исчезнувшего народа так же ясно, как и письменное свидетельство. Характер торговый, любовь к роскоши, к вещественному удовольствию, к осязаемой природе и, так сказать, к телесности человеческой сближают школу венецианскую с фламандскою, несмотря на различие племен, верований и государственных форм, хотя и эти различия также ярко отпечатаны в Рембрандте и Рубенсе, с одной стороны, в Тициане или Тинторете — с другой. Римское монашество и ужас инквизиции запечатлены в живописцах Гишпаниа, несмотря на ясное солнце, которое сделало их

колористами, и на чистые начала христианства, которым они не вполне изменяли, хотя и давали им тесное и одностороннее значение. Сухое протестантство, строгая дума, склонность к анализу и в то же время любовь к явлениям земным в их неблагороднейшей форме могут легко быть замечены в школе немецкой. Такие же явления можно заметить и во всех школах; такие же явления и во всех искусствах, будь они искусствами формы, звука или слова. Вывод один и тот же: везде и во все времена искусства были народными. Уже по одной аналогии нельзя думать, чтобы этот закон изменился для России. Я знаю, что нам, ожидающим возврата своенародности, часто ставится в поперек то, что мы ожидаем от этого возврата много нового и необычайного. В силу этого правила скажут нам: «вы должны вполне отвергать аналогию фактов или по крайней мере не основываться на ней». Разумеется, такое заключение было бы ложно. Закон отношений между началами и их проявлениями останется всегда неизменным. Новые начала мысленные вызываются к жизни: из них по необходимости должны проистекать новые явления, отличные от всего прошедшего. Это не только не противно аналогии фактов, но могло бы быть доказано эмпирически посредством ее. Впрочем, в этом случае смысл самих фактов объясняется чистыми законами разума.

Не из ума одного возникает искусство. Оно не есть произведение одинокой личности и ее эгоистической рассудочности. В нем сосредоточивается и выражается полнота человеческой жизни с ее просвещением, волею и верованием. Художник не творит собственною своею силою: духовная сила народа творит в художнике. Поэтому очевидно, что всякое художество должно быть и не может не быть народным. Оно есть цвет духа живого, восходящего до сознания или, как я уже сказал, — образ самосознающейся жизни. У нас, при разрыве между жизнью и знанием, оно невозможно. Конечно, по-видимому, можно бы обойтись и без искусств: найдутся многие, которые или не дорожат ими, или не видят в них никакой необходимости, хотя могут и умеют ими наслаждаться по-своему, как хорошим столом, устерсами и другими отрадами роскошного комфор-

та. Эта черта (довольно общая во Франции, всегда готовой возводить всякое ремесло до художества потому, что она всегда низводит художество до ремесла) не слишком редка и у нас. Спорить не об чем: всякий волен в своих вкусах и желаниях. Быть может, жаль бы было лишить всякой художественной будущности народ, который дал такие прекрасные задатки искусству в звуке и слове и который даже в живописи и зодчестве давал великие обещания, понятные всякому истинному художнику, изучавшему наши старые иконы и строения; но тут еще беда не велика. Важно то, что народ, способный к художествам, не может лишиться иначе их развития, как утратив целость и здравие своей внутренней жизни. Он обречен на бессилие в науке, так же как и в искусстве; ибо наука, как я уже сказал, тесно связана с жизнью. Часто случается слышать и читать высокопарные возгласы о том, что наука везде одна, так же как истина, и насмешки над теми, которые этого как будто не понимают. Прекрасное одно, но выражение его различно по условиям места и времени; точно то же должно сказать и о науке в отношении к истине. Истина есть или должна быть окончательным выводом науки; но наука положительная, или историческая, не есть и не может быть самою истинною, а только путем к достижению ее. Этот путь и его направления зависят вполне, так же как выражение красоты, от места и времени. «Анализ и его законы везде одинаковы». Во-первых, приложения их могут быть многообразны; во-вторых, анализ существовать не может без данных, а данные для него заключаются не в самих фактах, а в непосредственном знании фактов. Это первое непосредственное знание определяет почти во всех случаях (за исключением, может быть, одной математики) весь характер аналитического труда, который сверх того, как я уже сказал, всегда сопровождается скрытым синтезом, вполне зависящим от внутренней жизни народов. Оттого-то хотя Италия сделала много для науки, хотя немало сделала и Франция (особенно в науках опыта), хотя бесконечны заслуги Англии и Германии; но во всех этих странах наука является с иным значением, в ином виде и с своеобытным характером. Очевидно, не может быть тождества

между наукою в Англии, стране, которая никогда не умела еще отделять законов факта от его случайностей, и в Германии, которая довела себя до состояния чисто аналитической машины, утратившей всякое живое сознание фактов. Достижение истины сопряжено с бесконечными ошибками и заблуждениями, и нелепа бы была надежда народа, который бы обещал себе науку совершенно свободную от односторонности и от всякого самообольщения. Я уже показал всю ложность, произвольность и недостаточность большей части так называемых наук. Надеюсь, что многие ошибки исправит Россия; но я очень далек от мысли, чтобы мы достигли до полного и безошибочного знания истины. Такими надеждами тешат себя и читателей только те, которые предпочитают тяжелому труду изысканий легкое и дешевое пользование трудами Запада и ленивое упование в выводы, на которых он остановился: сомнение потребовало бы проверки, проверка – труда; легче верить; но эти люди не принадлежат нисколько науке. Она для них недоступна, как и самое искусство потому, что она растет только на жизненном корне живого человеческого общения; а они отрицают это общение, отрицая живую личность народа, через которую единственно делается нам доступным человечество, ибо, помимо ее, человечество есть только идея отвлеченная или числительное скопление бессвязных личностей.

Сказанное о науке относится, может быть, яснее к быту. Там, где общество раздвоилось, где жизненные силы приведены в оцепенение разрывом между жизнью и знанием и вечною, даже не скрытою, враждою самобытного начала и чужеземного наплыва, – там духовные побуждения теряют свое значение и место их, как я уже сказал, заступает мертвый и мертвящий формализм. Бесполезно бы было проследить эту язву во всех подробностях ее явлений – они известны; но должно заметить, что из западных стран та, в которой я уже показал особенное преобладание формализма, – Франция начинает сознавать его бедственное последствие, называя его то формализмом, то машинизмом. Еще недавно один из мыслителей ее говорил: «Формализму часто достаются видимые успехи, но эти успехи

бесплодны: им недостает жизненного начала. Успех формализма – потеря для общества». В другом месте он прибавляет: «Формализм пользуется всеми вещественными силами, но сам он бессилен. Душа не покоряется ему; она слишком горда и благородна, чтобы унизиться до состояния механического действующателя. Она боится и бежит формализма». Замечательны еще и следующие его слова: «Случается, что какое-нибудь благородное существо соглашается сделаться орудием формализма с надеждой сохранить свое внутреннее достоинство; но этот обман не проходит даром. После немногих лет слепой механической деятельности обольщение исчезает, и душа очнется, изумляясь, сама своему обессилению и унижению». Я не люблю авторитетов и цитатов и привожу эти слова только в доказательство, что я недаром обвинял Францию в формализме, что она его сама в себе сознает и что везде, где формализм преобладает, там гложут жизненные силы. Впрочем, Францию обвинять нельзя: ее формализм есть необходимый результат ее прошедшей жизни. Вся история Франции была тяжбою между железом феодального тирана-барона и золотом феодальной общины городов. Тяжба выиграна городами: но бедному Якову (Jacques Bonhomme) никогда не было места в общественной жизни, да и быть не могло. В нем самом нет ни внешней цельности, ни внутренних начал жизни. Со временем факт этот, до сих пор непонятый, будет понят анализом науки; но покада прошу читателей моих не пенять на меня за то, что я предполагаю в них не только знание, но и понимание исторических фактов. <...>

Итак, как бы ни пренебрегал человек искусством, он должен дорожить его возможностью, потому что с нею соединяется возможность науки и разумного быта, которыми, конечно, никто пренебрегать не может. Условия одинаковы во всех трех случаях, и во всех трех они для нас неисполнимы потому, что мы утратили свою народную личность, то есть самих себя.

Всякое народное просвещение определяется народной личностью, то есть живой сущностью народной мысли; более же всего определяется она тою верою, которая в нем являет-

ся пределом его разума. В современной Европе является стремление к примирению разрозненных начал просвещения и жизни в единстве религиозной мысли; но это стремление, которое в глазах слишком добродушных судей кажется торжеством религии, не достигает нигде своей цели и свидетельствует только о внутренней вражде непримиримых начал и о неутоленной и неутолимой жажде единства. Впрочем, оно иначе и быть не могло. Когда раздвоение не случайно, а лежит в самой основе духовного и общественного мира, когда борющиеся начала, возникшие из жизни и управляющие ею, прямо противоположны друг другу, они уже не могут примириться ни собственными силами, ни бедным миротворством одностороннего рассудка: они могут найти свое примирение только в другом высшем начале, возникшем из другой, менее односторонней жизни. Этот закон не подлежит никакому сомнению: он засвидетельствован историею во всех ее периодах. Впрочем, так как теоретические положения не для всех удовлетворительны, взглянем на факты. Южная Европа (Италия и Гишпания) не имеет никакого современного значения; поэтому довольно упомянуть о тех трех землях, которые в различных отношениях считаются главными действующими лицами просвещения. Первый из современных поэтов Франции и один из самых замечательных ее историков-мыслителей объявили недавно, один в торжественной речи, другой в книге, заслужившей огромный успех, что веры во Франции уже нет, и показание их подтверждается всеми явлениями высшей умственной жизни в их отечестве. Правда, что взамен утраченной веры они предлагают с дюжину других: веру в искусство, веру в славу, в прекрасное, в усовершенствование, в народ, и пр. и пр. Каждый мог бы выбрать по своему вкусу, и странно только то, что Франция не пользуется таким выгодным предложением и что даже остроумная Жорж Занд смеется печатно над этой мелочною лавочкою.

Между тем как за Рейном отсутствие религии является в формах ветреной и самодовольной мелочности, оно является по сю сторону Рейна, в Германии, с видом степенным, размыш-

ляющим и достойным многоученых немцев. Я не говорю об изданиях, слишком высоко оцененных, а действительно довольно ничтожных, какого-нибудь Страуса или Брунебаура; я не говорю о их временном успехе, свидетельствующем о потребностях читающей публики, ни о целых приходах, признавших себя страусиянцами, ни о журналах, выходивших в том же духе и едва прекращенных усилиями правительств, ни обо многих других доказательствах. Я упомяну только об одном письме лучшего представителя протестантских религиозных школ, ученийшего преподавателя-историка и весьма прямодушного человека Неандера к англичанину Дюару. «Разница (говорит он) между нами и вами та, что вы верите в возможность объективной истины в религии, а мы нет: мы пережили эту младенческую эпоху и знаем, что истинная вера может быть только субъективной для каждого человека». Мнение ученого Неандера в этом деле решительно; оно доказывает полное отсутствие религии в Германии; ибо сила всякого учения измеряется крепостью и внутренней самоуверенностью его высших представителей. В России мы еще часто слышим или, лучше сказать, читаем про набожность и религиозность Германии. Не знаю, для чего или для кого это пишется; впрочем, может быть, со стороны самих писателей это не обман; а добродушная ошибка, основанная на предании о прежней немецкой *Frommigkeit* (особенного рода набожности) и поддержанная картинами сельских пасторов у Августа Лафонтена.

В Англии является нам совсем другое. Ее внутренняя жизнь крепче и не столько потрясена, как жизнь Германии и Франции, самонадеянными притязаниями частного рассудка. Там происходит великая борьба, которая, как ни важен спор о хлебных законах, гораздо важнее его в глазах просвещенного наблюдателя. Эта борьба определяется просто и легко. Церковная реформа Англии имела особый характер. Отречение от римского католицизма было сопровождаемо желанием удержать в пределах произвол рассудочной критики и сохранить, сколько возможно, живую цепь старины и предания. Из этого желания возникло устройство, очевидно произвольное, англиканской церкви, не

уверенной в самой себе, но сохраняющей внешние знаки живого предания и исторической последовательности. Такой особый характер английской реформы происходил из характера народа, и обратно, характер народа поддерживался им до нашего времени. Но требования критики неотвратимы и неизбежны. Произвольность, лежащая в основе англиканизма, повела многих к требованию большей протестантской свободы, многих — к требованию большей верности католической старине. Вопрос наделал сперва много шума под именем пюэизма, а теперь, по-видимому, перестал обращать на себя общественное внимание; но разрешение необходимо и наступает с каждым днем явно или незаметно. Нетрудно сказать, как этот вопрос разрешится, если англиканизм будет предоставлен собственным силам и не подпадет влиянию другого, внешнего начала. Возврат к римскому католицизму невозможен потому, что отрицание, раз совершенное сознательно и разумно, не может пропасть без следа. Торжество начала критического, или протестантства, неизбежно. Торжество же протестантства, как начала критического и чисто рассудочного, сводит англиканизм и, следовательно, вместе с ним жизнь Англии на уровень безжизненного протестантства германского.

Таково общее состояние европейского просвещения, определенного его крайними духовными пределами в веру. Я никого не обвиняю в безверии и не пугаю безверием, хотя, может быть, найдутся добрые люди, которые это предположат и скажут, что я вмешиваю веру в вопросы науки. Я знаю, что совершаемое и совершенное на Западе было необходимо; но из того самого, что оно было необходимо на Западе при его началах, следует, что оно невозможно у нас при наших. Началом Запада была двойственность в жизни народной (завоеванные и завоеватели) и двойственность в понятии духовном: ибо односторонность римского определения единства в покорности (следовательно, единства внешнего) вызывала необходимо и вызвала отрицательную односторонность свободы в разномыслии (следовательно, внешней, ибо свобода разумная едина). Обе односторонности должны были оказаться неудовлет-

ворительными и, следовательно, произвести общее отрицание. В нашем же духовном начале тождество свободы и единства (свободы в единстве и единства в свободе) и наше народное начало, которое могло принять и сохранить такое духовное начало вследствие своего внутреннего единства, не могут никогда ни подчиниться выводам, исторически возникшим из западной двойственности, ни принять их в себя. Я не говорю: «лучше не принимать», но говорю: нельзя принять, если бы даже и хотели. Поэтому очевидна вся ограниченность тех, которые думают перенести в Россию не одни только положительные или, так сказать, математические знания Запада, но и весь строй его просвещения. Мнения их опровергаются малейшим употреблением человеческого разума. Есть другое мнение, возникшее, может быть, давно, но выражающееся с особенною ясностью недавно. «Надобно-де принимать все доброе с Запада и усердно учиться у старшей братии, опередившей нас в просвещении; но и своим брезгать не должно. И у нас хорошего было много. Мы изучим-де Россию в ее истории, в ее стародавней письменности и законах; познакоимся вполне с ее статистикой (вероятно, с источниками ее богатств) и так все хорошо приладим, что лучшего и желать нельзя. Будем вполне просвещенными людьми, ибо примем все современное просвещение и останемся совершенно русскими, узнавши до нюотка историю, статистику и письменность России». Это мнение возникло, по-видимому, не в ученом мире, а в общественных кругах, образованных без строгой учености, благонамеренных без истинной решимости на добро и любящих Россию без всякого желания жертвовать самолюбивою личностью своей для Святой Руси. Органы его в словесности — люди добрые, миротворящие, мирволящие, враги всякого крайнего мнения, всякого крутого приговора и всякой неприличной ссоры с бытом и мнением так называемого общества. На первый взгляд мнение это имеет некоторые достоинства; но все они исчезают при самом легком прикосновении критики. По-видимому, в нем менее гордости и пренебрежения к России, чем в мнении чистых приверженцев Запада: это обман. Как бы ни были велики и вредны ошибки нашей за-

падной братии, она потрудилась много, потрудилась со славой и пользой на поприще просвещения, она своей тревожною жизнью и ненасытимою жаждою истинного и прекрасного создала в науке, быте и искусствах много великого, много достойного бессмертной похвалы; и для нас менее унижительно жертвовать своею самостоятельностью западному миру, чем частной мудрости полупросвещенных и полумертвых представителей нашего прививного знания. В этом мнении, по-видимому, есть также любовь к русскому и своему: опять обман. Тут действительно исчезает народность своя, как и всякая другая. Все русское является, так же как французское, китайское, индейское и пр., не как жизненное начало, подчиняющее себе свою силу всякую другую мысль и всякую личность, но как бесхарактерный материал, годный только для переделывания и перелаживания согласно с высшими соображениями так называемого общества. Наконец, это мнение по крайней мере имеет притязание быть рассудительным и требовать от Руси только того, что с нею может согласоваться; но на поверку выходит, что оно едва ли не безрассуднее мнений чистых поклонников Запада (хотя в этом деле трудно решить, кому принадлежит первенство безрассудности). Общая же черта обоих мнений та, что поклонники их ставят себя вне России, стараясь ее переделать по-своему; но, кажется, все еще возможно привить ей жизнь чужую, но сильную и богатую, чем подчинить ее бездушной мертвенности личного эклектизма. Вообще должно помнить, что для того, чтобы быть русским, недостаточно ни грамматического знания русского языка, ни знания статистики, ни изучения письменных памятников. На таком основании многие немецкие профессора могли бы себя считать отличными римлянами или греками. При всех этих знаниях будешь только порядочным русистом (как эллинист, латинист и т. д.), но живым русским человеком не будешь.

Вопрос, к которому привели нас требования художественной русской школы, очень важен: это для нас вопрос о жизни и смерти в самом высшем значении, умственном и духовном. Нет никакого сомнения, что русская народная стихия разовьется и

принесет во всех отраслях знания и деятельности человеческой огромный вклад, которым пополнится большая часть прежних недостатков. Нет сомнения, что то высокое начало единства, которое лежит основою всей нашей мысли и всей нашей народной силы, восторжествует над нашим мысленным и бытовым раздвоением. Быть может даже, от этого живого единства получит начало исцеления рано призванная на попрание просвещения, много для него потрудившаяся, но неисцелимая своими собственными силами и в началах своих раздвоенная западная наша братия. Мало-помалу положительные знания принимаются той частию русской земли, которая сохранила в себе жизненное начало. Это можно было предвидеть, и это совершилось бы, вероятно, давно, если бы знание не явилось у нас сначала в виде принуждения, отрицающего жизнь. Следовательно, в этом отношении нашему времени гордиться нечем; но можно с радостью предсказать, что знание, принятое в жизненное единство, принесет богатые и новые плоды в художестве, в науках и в быте. Так будет для Святой Руси. Но вопрос не об ней, а об нас, получивших знание по ложному пути, оторвавшихся от своей жизненной основы и принявших в себя чуждое нам раздвоение с его умственной мертвенностью. Вопрос в том, будем ли мы — в то время, когда жизненное начало Руси будет крепнуть и процветать, — только сухим и бесплодным хворостом, мешающим новому прозябению?

Это сомнение в самих себе, это тайное чувство, своей мертвенности давно уже высказывалось во многих и лучших представителях нашего просвещения. Скорбя о себе и о всем, что их окружало в обществе, они часто оглядывались с утешительной, но неясною надеждою на ту великую Русь, от которой они чувствовали себя оторванными. Я мог бы это показать в последних творениях Пушкина; но ни в ком болезненное сознание своего одиночества и своего бессилия не высказалось так ясно, как в Лермонтове, к несчастью, или не дожившем до сознания, что безжизненность есть принадлежность общества, а не русской земли, или отвергавшем сознание по личной гордости, свойственной его молодости и обществу, окружавшему его.

Эта черта в нем гораздо важнее, чем мнимый демонизм, принятый им задним числом с Запада и восхищавший близорукую публику и безглазую критику. Время ясного сознания нашей внутренней болезни наступило.

В прежних статьях я говорил о ничтожестве всего, что сделано нами в науке и искусствах, и о бессмысленном нашем незнании нашего быта и его начал. Очевидная истина не требует доказательств. Конечно, любопытно бы было проследить все или многие факты нашей умственной деятельности и показать в них, до какой степени мы лишены живых начал, до какой степени взгляд наш ограничен и стеснен тесными границами нашей школьной подражательности. Но это дело не мое, и я прибавлю только два-три примера, чтобы яснее показать, как наша школьная подражательность (необходимое следствие отчуждения от своей родной почвы) убивает в нас ясность разума и даже изобретательность в делах самого простого быта. В недавнем времени происходили жаркие и пустые споры о перемене правописания и о согласовании его с произношением. Толки оказались пустыми и миновали без следа; но в этом деле замечательно одно важное обстоятельство. Никому из спорящих в голову не пришло, что избрание правописания по произношению, то есть учреждение литературно-аристократического произношения, удалит от чтения русской книги едва ли не половину великорусского народа (говорящего на «о») и сделает русскую книгу совершенно недоступною нашим братьям-славянам. Теснота салонного взгляда отнимала у писателей понятие даже о собственных их выгодах, уже не говорю об умственном общении земли и народов, нам единокровных. Далее: тогда как изобретение Макадама обещает нам доставить удобные летние пути, никому в голову не пришло, что летний путь доступен только едва ли двадцатой части России, а что зимний путь, который нужен всей России, остается без усовершенствования. Наша изобретательность не подумала даже о возможности постройки зимних дорог из того покорного материяла, которым Россия покрыта ежегодно в течение пяти месяцев, между тем как уплотнение снега, начиная с пер-

вых порош, должно бы нам доставить и со временем доставит зимние пути, не уступающие лучшим летним и, без сомнения, с гораздо меньшим расходом. Мысль эта не пришла потому, что за границей почти нет зимы*.

Точно так же агрономы наши толкуют о гуано и Либиховых компостах и не могли придумать, что барда, весьма часто пропадающая даром при сильных винокурениях в октябре, мае и июне, когда она скоту не нужна, могла бы служить весьма сильным и полезным удобрением. Кажется, можно прибавить (если память меня не обманывает) и то обстоятельство, что в сравнительных таблицах питательности, издаваемых в России, найдешь сарачинское пшено и едва ли не саго, а не найдешь гречихи, которой питается почти вся Россия.

Далее — медицина аллопатическая не позаботится узнать хоть что-нибудь о бесконечном множестве лекарств, известных народу и передаваемых наследственно из рода в род, против многих болезней, с которыми справиться не умеет ученость медицинских факультетов (например, против водобоязни). С другой стороны, медицина омеопатическая не заметила, что в ее симптоматике недостает болезненных симптомов от меда и

* Я не называю опытами ни треугольника (кажется, шведского), который, раскидывая снег, производит только безвременную весну, когда еще все поля покрыты снегом; ни предложения о санях с длинными полозьями, предложения неисполнимого и явно недостаточного. Опыт ежедневного прокатывания 30-ти-пудовым катком, к которому спереди укреплена была треугольная борона с зубьями, не дохватывающими до нижнего уровня катка и только сбивающими случайные косицы, имел в продолжение почти целой зимы, как мне известно, великий успех. Но этот опыт был произведен на весьма малом пространстве деревенским жителем и не был никому сообщен. Считаю полезным объявить о нем, в надежде обратить на этот предмет внимание читателей, из которых, может быть, иной вздумает повторить его или придумает лучшее средство. Если бы ежедневное прокатывание дорог (полагая ширину их от двух до шести сажений) дало действительно твердую основу снежного пути, то средняя станция катка была бы около 7 1/3 верст, средний расход около 100 р. на версту, и расход на 30 тыс. верст был бы около 3 миллионов ассигнациями. Расход совершенно ничтожный и легко покрываемый копеечным сбором с пуда на 100 верст. Опыт этот, по-видимому, заслуживает проверки.

что при этом недостатке, по основным же правилам омеопатии, успешное лечение золотушной болезни (самой обыкновенной и самой важной в России) совершенно невозможно. Я с намерением взял примеры из самого простого быта или из самых простых приложений науки, чтобы показать, до какой степени наши понятия, почерпнутые из чужой мудрости, и наши мозги, так сказать, заграничной фабрики, мало способны не только разрешать задачи русской жизни, но даже и догадываться, что они существуют. Иначе и быть не может. Ибо отрешенный от жизненного общения единичный ум бесплоден и бессилён, и только от общения жизненного может он получить силу и плодотворное развитие.

Всякое замечательное явление, будь оно в добре или зле, будь оно признаком многосторонности или односторонности умственной, подтверждает высказанный мною закон. Газеты недавно дразнили зависть читателей перечнем Ротшильдовых миллионов; но Ротшильд — явление не одинокое в своем народе: он только глава многомиллионных банкиров еврейских. Своими семьястами миллионами, своим правом быть, так сказать, денежною державою, обязан он, без сомнения, не случайным обстоятельствам и не случайной организации своей головы: в его денежном могуществе отзывается целая история и вера его племени. Это народ без отечества, это потомственное преемство торгового духа древней Палестины, и в особенности эта любовь к земным выгодам, которая и в древности не могла узнать Мессию в нищете и унижении. Ротшильд факт жизненный. Имена многих великих музыкантов принадлежат к роду еврейскому: к нему же принадлежат многие литераторы, замечательные по остроумию, грации или силе ума и выражения (хотя все представляют что-то ложное в чувстве и мысли). Отчего же нет ни скульптора, ни живописца? Пластические искусства процветали у эллинов, поклонников человеческой красоты. Они процветали и у христиан, потому что земной образ человека получил для христианина освящение и благословение свыше. Они не существовали никогда у еврея потому, что мысль его была выше поклонения земной красоте; они не могут у

него существовать потому, что для него земной образ человека не принял еще высшего значения; это опять факт жизни. Может быть, величайший из мыслителей нового времени, человек, которого гений управляет, без сомнения, всем сокровенным синтезом современной философии (хотя анализом своим она обязана Бакону и Канту), основатель наукообразного пантеизма и, если можно так сказать, безверной религиозности, – Спиноза был еврей, и это факт не случайный: Спиноза должен был быть евреем. Отвергнув Новый завет, единственное разрешение прежних обещаний, евреи остались при неопределенном понятии о единобожии, переходящем по необходимости или к заключению божества в антропоморфизм (духовный или телесный – все равно), или в пантеистическую безличность – аморфизм. Таков был смысл еврейства, отвергающего Новый завет. В древности преобладало первое стремление, под влиянием еще неослабевших надежд на пришествие Мессии; при ослаблении этой веры должна была возникнуть другая крайность – и явился Спиноза, которого можно отчасти угадывать наперед в пантеизме еврейской кабалы, несмотря на ее мистические оболочки. Нет сомнения, что философские школы действовали на Спинозу, как и на всех современных ему мыслителей. Я знаю, и мог бы показать это влияние, но это дело постороннее. Важно то, что ни в ком, кроме него, это влияние не дошло и не могло дойти до тех результатов, до которых оно дошло в нем. Современные ему философы были христиане; начало же спинозизма лежало в том еврействе, в котором взрос Спиноза, и оттого-то его пантеизм (в сущности, атеистический) сохранил для него характер религиозный и мог даже действовать благотворительно на некоторые благородные природы (как, например, на Стефенса). – Эти три факта, взятые мною из одного народа, но из трех разных сфер умственной деятельности – из быта, художества и науки, пояснят, я надеюсь, для многих из моих читателей понятие мое об истории и понятие об отношениях жизни и просвещения. Одинокость человека есть его бессилие. И тот, кто оторвался от своего народа, тот создал кругом себя пустыню, как бы он ни был окружен множеством людей и как бы ни считал себя членом общества.

Таково-то наше положение, и потому-то я уже сказал, что вопрос, к которому нас привело исследование о возможности художественной школы, есть для нас вопрос о жизни и смерти в смысле деятельности умственной и духовной. Приобрести жизненные силы посредством полного внутреннего соединения с живым просвещением Запада невозможно и по распадению западной жизни, и потому, что ее начала, совершенно чуждые Русской земле, возросшей на начале высшем, хотя до сих пор еще не развитом, не могут быть ни приняты ею, ни привиты к ней. Создать для своего обихода какое-то эклектическое русско-западное существование бедными силами своего частного рассудка и потом наложить это существование на величие Русской земли, как мечтают благонамеренные эклектики, утратившие в бессвязном обществе и в мертвой книжности всякое здоровое понятие о жизни в ее не частном, но общественном значении, есть, как я уже показал, несбыточная, безрассудная мечта, осуждающая нас на самопроизвольное ничтожество. Поэтому очевидно, что мы не имеем никакой возможности выйти из своего болезненного бессилия и создать в себе или принять извне в себя плодотворное, жизненное начало. Это истина, в которой надобно убедиться глубоко, не оставляя в себе ни тени сомнения или гордого самообольщения. Тогда только, когда мы вполне поймем свою болезнь, поймем и возможность лечения, которая, к счастью, и доступна, и близка к нам.

Жизненное начало утрачено нами, но оно утрачено только нами, принявшими ложное полужнание по ложным путям. Это жизненное начало существует еще цело, крепко и неприкосновенно в нашей великой Руси (то есть Великой, Малой и Белой), несмотря на наши долгие заблуждения и на наши, к счастью, бесполезные усилия привить свою мертвенность к ее живому телу. То, что было, поросло быльем, и если бы нам приходилось отыскивать свою жизнь в прошедшем, конечно, мы бы ее никогда не отыскивали и не воссоздали, ибо создание или воссоздание жизни ничтожными силами одиночных рассудков было бы явлением, противным всем законам духовного мира. Ему могли верить несколько детей-студентов в Германии и несколько детей-стариков во Франции, да могут в ином

виде верить несколько детей-социалистов всякого возраста по всей Европе, но не поверит никто, кто сколько-нибудь изучил историю человечества или не утратил в душе своей хотя темное чутье человеческих истин. Жизнь наша цела и крепка. Она сохранена как неприкосновенный залог тою многострадавшею Русью, которая не приняла еще в себя нашего скудного полупросвещения. Эту жизнь мы можем восстановить в себе: стоит только ее полюбить искреннею любовью. Разум и наука приводят нас к ясному сознанию необходимости этого внутреннего преобразования; но я не считаю его слишком легким ни для каждого из нас, ни для всех. Гордые привычки нашей рассыпной, единичной жизни держат каждого из нас в своих оковах. Нравственное обновление не легкое дело. Конечно, каждый не только согласен полюбить те светлые жизненные стихии, которые сохранились на Руси, и ту Русь, которая их сохранила; но даже готов думать и уверять, что он любит их всею душою. Может быть даже, эта любовь действительно существует в нас; но она существует, как любовь к неграм, к готтентотам и индейцам существует в добром англичанине — вместе с убеждением в своем умственном и нравственном превосходстве и с надеждою на роль если не настоящих, то будущих благодетелей. Такая любовь ничтожна, скажу более, она отчасти пагубна. От этого самообольщения трудно, но необходимо должно отказаться: ибо не мы приносим высшее русской земле, но высшее должны от нее принять. Мы приносим только кой-какие знания, легко приобретаемые личным трудом каждого не совсем тупоумного человека; принять же должны жизненную силу, плод веков истории и цельности народного духа. Таков голос добросовестного анализа. Поэтому, чтобы любовь была истинною, она должна быть смиренною. Точно так же, как в науке человек поступает сперва в нижние разряды учеников и подвигается мало-помалу вперед, все более и более отстраняя от себя прихоти своего личного произвола и подчиняясь общим законам человеческого разума, так и человеку, желающему усвоить себе или развить в себе скрытую жизненную силу, должно принести в жертву самолюбие своей личности для

того, чтобы проникнуть в тайну жизни общей и соединиться с нею живым органическим соединением. Это дело не мгновения и не дня, а целого существования; ибо как великий Шиллер сказал в другом смысле, «жизнь покупается только жизнью»:

**Derm setzt Ihr nicht das Leben ein,
Nie wird Euch' das Leben gewonnen sein.**

Наш возврат к этой утраченной жизни не легок. Мы оторвались от нее сначала отчасти бессознательно, отчасти поневоле; мы изменили себе, изменяя ей; потом замкнулись в гордости своего мелкого знания, как колония европейских эклектиков, брошенная в страну дикарей; потом, как всякая европейская колония во всех частях света, мы приняли на себя характер завоевательный, конечно, с самыми благодетельными намерениями, но без возможности исполнить их, без сознания ясной цели, к которой стремились, и без того превосходства духа, который по крайней мере часто служит некоторым оправданием завоеванию. Следствием этих отношений была, как я сказал, борьба и полускрытая вражда: с одной стороны, подозрение, слишком оправданное, с другой — ничем не оправданное презрение. Эти чувства могут исчезнуть только при нравственном изменении в нас самих. Жизнь, нами долго оскорбляемая, нелегко и нескоро может свыкнуться с нами. Обмануть ее мнимым примирением невозможно потому, что она не имеет, и не может иметь личных представителей; да и во всяком случае цель не могла бы быть достигнута обманом. Дело наше — возрождение жизненных начал в самих себе, следовательно, оно может быть исполнено только искреннею переменою нашего внутреннего существования. Но, не скрывая от себя препятствий, которые мы должны по необходимости встретить в своем подвиге, мы можем с радостию и с надеждою сказать себе, что нам одним он возможен из всех современных народов. Раздвоение, подавляющее в нас духовную силу, есть дело исторической случайности и отчасти следствие недоразумения: оно не лежит ни в основе наших начал духовных, ни в характере нашего народного состава, как в романо-германской Евро-

пе: оно было следствием, так сказать, невольного соблазна при первой нашей встрече с богатствами знания, до тех пор нам чуждого; оно должно исчезнуть и исчезает при полном знакомстве с этим знанием. Остальные народы Европы, возвращаясь к прошедшему, если бы такой возврат был возможен, нашли бы только раздвоение и борьбу; в современном находят и могут найти только то же раздвоение и ту же борьбу, но дошедшую уже до крайности, до окончательного расслабления народной жизни и до безграничного преобладания эгоистической и рассудочной личности (Англия в этом случае составляет исключение, потому что имела народную жизнь, которую объясняются постоянные победы ее над Францией в средних веках; но я уже сказал, что и она не может найти в себе разрешения своих внутренних задач). Правда, не раз нам случалось слышать от невежественной критики, вооруженной бессмысленными, но звучными возгласами, что внутреннее раздвоение есть необходимый момент в развитии каждого лица или каждого народа. В доказательство этого произвольного положения не найдется, конечно, ни одного разумного довода: оно возникло из поверхностного знания фактов исторических и из поверхностного наблюдения над современным просвещением. Между тем оно совершенно ложно (если только под словом *раздвоение* не принимать гармонического процесса всякого мышления). Здравое единство не нуждается в моменте раздвоения, которого действительное разрешение есть смерть (точно так же, как двойственность гегелизма не разрешается ни во что, кроме буддгаистического нигилизма). Там, где этот момент действительно наступает или наступил, разумная критика указывает на односторонность или раздвоение начал жизненных и духовных, предшествовавшее явному разрыву и необходимо приводившее к нему. Одностороннее знакомство с Западом и признание его за норму человеческой деятельности привело к произвольной теории, выдаваемой за закон развития человеческого. Те же самые причины привели к ложным понятиям о ходе просвещения и художества: так, например, заграничные теоретики, а вслед за ними многие из наших, в просвещении,

особенно же в художестве, признают необходимость двух эпох — народной, безличной и личной, отрешенной от народности. Эта теория принадлежит в особенности Франции и Германии. В этих двух странах она имеет некоторый смысл, как наблюдение над домашними явлениями; но она становится ложной, как скоро является с притязаниями быть законом общим. Высшее художественное явление греческой и, может быть, всемирной словесности — творения, носящие имя Гомера, были песнею народною. В тесной области Афин вся бесконечно богатая литература и чудная пластика были явлением чисто народным. Поэзия аравитян принадлежит к тому же разряду, и, конечно, ученая критика не скоро найдет страну, которая превзошла бы красотой своего художественного развития эти две страны. В новейшие времена, как я уже сказал, такие явления не могли повторяться в областях, в которых все носило характер основного раздвоения. За всем тем многие и даже лучшие художественные явления не подлежат мнимому закону, выдуманному досужею критикою. Так, например, в Италии идет постоянный размен музыкального вдохновения между народом и маэстрами; так, живопись итальянская есть столько же собственность народа, понимающего и глубоко чувствующего ее красоту, сколько и высших сословий; так, поэма Тассо отчасти усвоена и принята венецианскими гондольерами; так, в Англии Шекспир принадлежит почти всем сословиям и Бернс есть поэт народный не потому, что из народа вышел, а потому, что принят народом, как свой. За всем тем внутреннее раздвоение всей организации на Западе бесспорно мешало развитию истинно народных художеств и мешало тем более, чем это раздвоение сильнее. Явления художества народного возможны отчасти в Англии, где существовала народная саксонская стихия, подавленная, но не уничтоженная норманнским наплывом; еще более возможны в низменной Шотландии, где этот наплыв был почти ничтожен; до некоторой степени возможны в Италии или Гишпании, где от древности до нашего времени внутренний разрыв состава народного был далеко не так силен, как в средней Европе; в полноте своей невозможны нигде и совер-

шенно невозможны во Франции, где никогда не было ни языка, ни народа, ни истинной жизни. Впрочем, по мере того как искусство народное делается менее возможным, так оскудевает искусство и вообще, и Франция по необходимости всегда была в высшей степени странною антихудожественной, то есть не только неспособной производить, но неспособной понимать прекрасное в какой бы то ни было области искусства. Так, например, в наше время Франция и офранцузившаяся публика встречала с слепым благоговением произведения Жорж Занда, которые совершенно ничтожны в смысле художественном (Какое бы они ни имели значение в отношении движения общественной мысли) и не нашла ни похвал, ни удивления, когда та же Жорж Занд почерпнула из скудного, но уцелевшего источника простого человеческого быта прелестный и почти художественный рассказ «Чертовой лужи», под которым Диккенс и едва ли не сам Гоголь могли бы подписать свои имена. Искусство, как я уже сказал, не есть произведение единичного духа, но произведение духа народного в одном каком-нибудь лице. Сохранение же имен в памяти народной или их забвение есть чистая случайность, не составляющая действительно никакой разницы в истории искусства. Менее ли народны песни аравитян потому, что аравитяне помнят имена их сочинителей, умерших за несколько тому веков?

Что сказано об искусстве, относится и к просвещению вообще; но просвещение истинное, которое есть достояние всех и ничем иным быть не может, доступно только тем странам, которых внутренний состав основан на единстве стихий племенных и умственных; на Западе же, особенно в тех землях, которые, по-видимому, идут передовыми вожатыми науки, оно невозможно потому, что разница между богатствами лорда, питающегося в Англии тропическими фруктами, и бедного поденщика на угольных копях, с трудом достающего насущный хлеб, не так велика, как разница между их умственными развитиями или между образованием так называемых общественных вершин в Париже и бедных пастухов, бегающих на ходулях за стадами своими по побережью Бискайского залива. Язва ду-

ховного пролетарства ужаснее язвы пролетарства вещественного. Обе неисцелимы везде, где слабость и скудость личная не восполняется и не укрепляется плодотворным общением любви и духа народного. Но то, что теперь недоступно Западу, доступно нам и нашим единокровцам, особенно же единоверцам славянам.

Кстати, о славянах. Некоторые журналы называют нас насмешливо славянофилами, именем, составленным на иностранный лад, но которое в русском переводе значило бы славянолюбцев. Я со своей стороны готов принять это название и признаюсь охотно: люблю славян. Я не скажу, что я их люблю потому, что в ранней молодости, за границей России, принятый равнодушно, как всякий путешественник в землях неславянских, я был в славянских землях принят как любимый родственник, посещающий свою семью; или потому, что во время военное, проезжая по местам, куда еще не доходило русское войско, я был приветствуем болгарами не только как вестник лучшего будущего, но как друг и брат; или потому, что, живучи в их деревнях, я нашел семейный быт своей родной земли; или потому, что в их числе находится наиболее племен православных, следовательно, связанных с нами единством высшего духовного начала; или даже потому, что в их простых нравах, особенно в областях православных, таятся добродетели и деятельность жизни, которые внушили любовь и благоговение просвещенным иностранцам, каковы Бланки и Буэ. Я этого не скажу, хотя тут было бы довольно разумных причин, но скажу одно: я их люблю потому, что нет русского человека, который бы их не любил; нет такого, который не признавал бы своего братства с славянином и особенно с православным славянином. Об этом, кому угодно, можно учинить справку хоть у русских солдат, бывших в Турецком походе, или хоть в московском гостинице, где француз, немец и италианец принимаются как иностранцы, а серб, далматинец и болгарин — как свои братья. Поэтому насмешку над нашею любовью к славянам принимаю я так же охотно, как и насмешку над тем, что мы русские. Такие насмешки свидетельствуют только об

одном: о скудости мысли и тесноте взгляда людей, утративших свою умственную и духовную жизнь и всякое естественное или разумное сочувствие в щеголеватой мертвенности салонов или в односторонней книжности современного Запада.

Восстановление наших частных умственных сил зависит вполне от живого соединения с стародавнею и все-таки нам современною русскою жизнью, и это соединение возможно только посредством искренней любви. Иные твердят о своих патриотических чувствах, а «людей в Киеве ничем зовут», как царь Калин в сказке, или ругаются над неученою Русью, как чиновник в повести Достоевского, высказавшего (не знаю, сознательно или нет) в этом презрении Девушкина к мужику и бабе страшное оправдание его собственных страданий. Иные уверяют, что вся будущность русская заключается в грамматическом знании русского языка, как будто бы язык, а не вся духовная сила русского человека, создал нашу великую родину. Она приняла многих, ей служили многие; но ее корни живут и питаются только в душе русских людей. Все эти мнимые формы любви не любовь. В них суждение самое доброжелательное может признать только холодное благоволение или ту гордую благотворительность, которой лучшим выражением считаю я статью в «Земледельческой газете» прошлого года 12 февраля, начинающуюся снисходительными похвалами смышлености и толку русских крестьян, а оканчивающуюся тем, что автор рассказывает с одобрением, как староста вылечил *кликуш* посредством чего-то вроде рекрутского осмотра. Не так понимаю я любовь и общение.

Общение заключается не в простом размене понятий, не в холодном и не в эгоистическом размене услуг, не в сухом уважении к чужому праву, всегда оговаривающем уважение к своим собственным правам; но в живом размене не понятий одних, но чувств, в общении воли, в разделении не только горя (ибо сострадание чувство слишком обыкновенное), но и радости жизненной. Только такого рода общение может возвратить нас к началам жизни, нами утраченной, и привести нас из состояния безнародной отвлеченности и мертвой самодовольной

рассудочности к полному участию в особенностях, характере и физиономии народа. Наши школьные полузнания развились бы до науки и развили бы науку, внеся в нее великие и до сих пор ей чуждые начала, отличающие нас от западного мира с его латино-протестантскою односторонностью, с его историческим раздвоением. В нашем быте отозвалось бы то единство, которое лежало искони в понятии славянской общины и которое заключается не в идее дружинного договора германского или формального права римского (то есть правды внешней), но в понятии естественного братства и внутренней правды. В искусстве наступила бы новая эпоха; и оно перестало бы влачиться бессильно по стезе рабского подражания, а стало бы выражать свободно и искренно (посредством звука, или слова, или формы) идеалы красоты, таящиеся в душе народной; ибо корень искусства есть любовь, формальное же изучение его есть не что иное, как приобретение материальных средств для успешнейшего выражения любимого идеала; но без этого идеала и без любви к нему искусство есть только ремесло. Профессор может сказать ученику или богач своему подрядчику: «напиши победу Александра Невского над шведами», и ученик или подрядчик напишет русого молодца в завитках, который бьет и рубит более или менее рыжих или русских молодцов. Он может сказать: «напиши победу Пожарского над Литвой», и опять ученик или подрядчик напишет такого же русого молодца в завитках, который бьет и рубит более или менее русских или черноволосых молодцов; но во всем этом нет и признака искусства, ото всего этого веет могильным холодом. Только в живом общении народа могут проявиться его любимые идеалы и выразиться в образах и формах, им соответственных; но для того, чтобы оживилась наука, быт и искусство, чтобы из соединения знания и жизни возникло просвещение, мы должны, сознавая собственное свое бессилие и собственные нужды, слиться с жизнью Русской земли, не пренебрегая даже мелочами обычая и, так сказать, обрядным единством как средством к достижению единства истинного и, еще более, как видимым его образом.

Я знаю, что многие говорят с пренебрежением об этих мелочах и что петербургские журналы объявляют во всеуслышание, что народность не в бороде и не в зипуне. Я не спорю. Не имею притязаний на монополию любви к России и не изъявляю сомнения насчет чувств наших критиков. Я готов не только признать в них любовь к нашей Святой Руси, но готов признаться и в том, что это чувство похвальнее во многих из них, чем во мне: во мне оно невольно и прирожденно; во многих из них оно — чувство, приобретенное волею и рассудком и, так сказать, наживное. Но, с другой стороны, от этой разницы в начале чувства происходят, может быть, разные понятия о предметах и разные взгляды на народность. Тонкие, невидимые струны, связывающие душу русского человека с его землею и народом, не подлежат рассудочному анализу. Может быть, нельзя доказать, чтобы русская песня была лучше итальянской баркаролы или тарантеллы; но она иначе отзывается в русском ухе, глубже потрясает русское сердце. Точно так же для русского глаза особенно приятны образы, окружавшие его детство и встречавшие его взгляд на свободе сельского простора. Нападение на русское платье есть нападение на свободу вкуса и чувства, нисколько не посягающую на чужой вкус и чужое чувство; оно будет разумно только тогда, когда будет доказано, что фрак разумнее или удобнее зипуна, или когда художники произнесут приговор о сравнительном изяществе нарядов. До тех пор отвержение одежды только потому, что она русская одежда, должно казаться несколько странным, чтобы не сказать: несколько оскорбительным.

Конечно, о таких мелких подробностях не стоило бы упоминать, но не мешает и упомянуть, чтобы привести мысль и чувство так называемой образованной публики к большей простоте (необходимому условию того жизненного общения, о котором я уже говорил). Только в этой безыскусственной простоте может пробудиться возможность искусства, науки и разумного быта; ибо только в живом общении с народом выходит человек из мертвенного одиночества эгоистического существования и получает значение живого органа в великом организме;

только при нем может всякая здравая мысль и всякое теплое чувство, возникшее в каждом отдельном лице, сделаться достоянием общим и получить влияние и важность, не изъясляя и не имея притязаний на важность и влияние; только при нем возможно то просвещение, к которому Запад стремится безнадежно и которого достигнуть не может вследствие своего внутреннего раздвоения. Конечно, для каждого из нас перевоспитание самого себя сопряжено с немалым трудом; но труда жалеть не должно, когда предположенная цель есть возрождение жизненных начал в нас и развитие истинного просвещения в Святой Руси.

Что до меня касается, то, приглядываясь к бесплодным усилиям многих к добру и пользе, прислушиваясь к общим жалобам Европы на безжизненность, на бессвязность, на бесплодность общества, я не могу не считать отрадным такого состояния, в котором каждое частное лицо, как бы ни было низко или высоко его звание, как бы ни были скромны или блистательны его способности, чувствует, что уже одним нравственным достоинством своей жизни оно вносит значительный вклад в общую сокровищницу и что, с другой стороны, сколько бы оно ни вносило в нее, оно всегда получает из нее во сто крат более, чем может принести.

Примечания

Печатается по: Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века / Подгот. текста, сост., вступ. статья и примеч. В. К. Кантора и А. Л. Осповата. М.: Искусство, 1982.